

Ю. В. ГАПОНОВ

## ОТРЫВКИ ИЗ НЕНАПИСАННОГО

### Предисловие

Публикуемые ниже воспоминания были написаны в середине 70-х годов, когда коллектив физической студии «Архимед», к которому был причастен автор, окончив физфак МГУ, оказался в ДК Института атомной энергии (ИАЭ) им. Курчатова, где тогда, несмотря на меняющееся время, жили и продолжали развиваться традиции физического искусства [1]. Новое поколение студийцев надо было посвятить в эти традиции, в предания о том поразительном духовном перевороте, который произошел на физфаке МГУ в 50-х — начале 60-х, когда родились три «социальных изобретения» физиков-шестидесятников: студенческие стройотряды, праздник Архимеда — День физика и «физические» оперы — капустники. Дать эмоционально ощутить атмосферу созидания, да и самим понять, как, почему и откуда мы пошли. Первая версия публикуемой части воспоминаний была прочитана на творческом вечере автора по поводу его 40-летия [2]. Затем они неоднократно исполнялись в разных обстоятельствах и в конце 80-х попали в руки Даниила Данина, одобдившего их. Он предложил автору опубликовать воспоминания, дополнив деталями описание событий 53-го года, с которых все начиналось. Но историю событий этих удалось восстановить только недавно, да и то пока не в полной мере. Сегодня ясно, что текст вряд ли стоит менять: время нынче другое — лучше сохранить атмосферу 50-х — 70-х и восприятие тех лет. А интересующиеся могут познакомиться с недостающими деталями в [3]. Что же касается дальнейших глав воспоминаний, то автор надеется их дописать и опубликовать постепенно в будущем, если оно позволит. В заключение считаю своим долгом поблагодарить физиков студии «Архимед», которые своим доброжелательным отношением к автору всегда одновременно и поддерживали его исторические экскурсы, и достаточно критически их воспринимали.

1. Гапонов Ю. В. Рождение традиции // Исаак Константинович Кикоин. Воспоминания современников. М., 1998. С. 241–251.
2. Гапонов Ю. В. Воспоминания // Всеобщая история Архимеда. Т. 4. Москва, 1978. (Архив студии «Архимед». Машинописное издание.)
3. Гапонов Ю. В., Кессетих А. В., Ковалева С. К. Студенческие выступления 1953 года на физфаке МГУ как социальное эхо атомного проекта. Доклад на симпозиуме HISAP'99 (Лаксенбург, Австрия, 1999) // История советского атомного проекта. Документы, воспоминания и исследования. Вып. 2. М., 2001 (в печати).

## «ИЗНАЧАЛИЕ»

Физфак! Как много в этом слове  
 Для сердца нашего слилось,  
 С какою нежною любовью  
 Оно в душе отозвалось.

Побудешь с ним денек в разлуке —  
 И подыхаешь ты от скуки,  
 И, нацепив дырявый плед,  
 Спешешь быстрее на факультет.

*Г. Копылов.*

*«Евгений Стромькин» (с. 103)\**

Физический патриотизм, даже своего рода физический национализм свойственен в той или иной степени всем выпускникам физфака МГУ. Он — знамение времени. Он впитывается нами, нашими собратьями в прошлом и настоящем, хотя особенно характерен именно для конца 50-х — начала 60-х годов. Сейчас он как-то завял, принимается чуть скептически, совсем в духе современного нигилизма, а в то время был его расцвет. Наверное, для этого было много причин. На первое место нужно, конечно, ставить покорение атома. Оно не было делом наших рук, но наше поколение чувствовало этот невероятный всплеск дерзости по тем сотням интуитивных связей, которые соединяли нас, вопреки косным физфаковским традициям начала 50-х, с творцами. Сами они не были в то время на факультете: в 47-м году, после дискуссии о махизме в физике, академики — гордость факультета — ушли в знак протеста по «делу Хайкина» (его «махистский» курс механики и сейчас настольная книга первокурсников). Ушли, чтобы основать МИФИ и ФИЗТЕХ; наверное, увели с собой активную часть физфаковских студентов, но у тех, что остались (частью по молодости, частью по обстоятельству), ниточки связи сохранились, и они ясно чувствовали этот пульс науки, бившийся где-то рядом, по «ящичкам» и НИИ. Да и друзья из МИФИ и ФИЗТЕХа не забывали. В самом деле, трудно ли было пойти сдавать курс Ландау или просто ходить на его семинар, послушать, как он остроумно ругается по поводу и без. Все-таки физика была еще мала по масштабам, ЖЭТФ\*\* тощ, кучка ведущих сильно завязана личными приязнями и претензиями, все всех знали. Как в том же «Стромькине»:

Был запросто к Ландау вхож,  
 Д. Д. не ставил ни во грош.

Наверное, играло роль и другое. В конце 40-х — начале 50-х годов курс физфака был невелик — ну, 100–150 человек — и жил как единый организм, с сильным духом коллективизма. Люди того времени прошли фронт, демобилизовались в 20–25 лет и по целеустремленности и жизненной школе резко отличались и от сегодняшних десятиклассников, и от сегодняшних материалистов-производственников. Для них после тяжелого воинского труда и послевоенных казарм мирное время и книги были уже романтикой. Да и тогдашние десятиклассники были воспитаны школой и улицей в войну, т. е. были сильно самостоятельны. И вот эта «адская смесь» молодых и самостоятельных школьников и демобилизовавшихся вчерашних солдат создали тот запал, который буквально взорвал физический факультет в 1953 году осенью.

\* Цит. по: ВИЕТ. 1998. № 2. С. 86–150.

\*\* Журнал экспериментальной и теоретической физики.

Физфак переходил в новое здание. Старое, кирпичное трехэтажное здание на Моховой, во дворе, около Института геологии уже не выдерживало напора студентов. Курсы 51-го — 53-го годов приема были по тем временам огромными — по 400–500 человек, два потока по десять групп. Они уже планировались для нового здания, для Ленгор. Физфак был забит до отказа (впрочем, это его обычное состояние — сколько помню). Лекции проходили и в Большой физической аудитории (того здания), и в Анатомической — во Втором МОЛМИ\*, во дворе «Националя», и в Зоологической и Ботанической аудиториях, на Моховой, 9 и Моховой, 11, в коридорах и гимнастических залах. Читалка на Моховой, 11 выползла на антресоли над лестницей и расплзлась по огромным коридорам здания. Кругом учились вперемешку физики и филологи. Был и филиал физфака около клуба Русакова — там проходили семинары. Для занятий по физкультуре ездили на Красную Пресню, на стадион в Сокольниках. Все ждали нового здания.

И вот в сентябре 1953 года новое здание было открыто. 33 этажа со шпилем, огромные столовые, где продавалась газированная вода в бутылках с серебряной оберткой и ходили величественные официантки, мрачные тяжелые мраморные залы перед входом в Актовый зал и 101-ую аудиторию — и лифты. Восхитительные лифты, которые мчались куда-то на мехмат и геофак, на 24-й этаж и выше, катаясь вволю! Огромные, казалось, необъятные общежития. Зона Б, зона Д — какая музыка! И новый пятиэтажный физфак, чинно противостоящий химфаку, фонтаны, газоны, шпалеры аллей. Было от чего обалдеть! Это было чудо — по форме!

Содержание оставалось старым. Все те же методы преподавания, еще от Лебедева и Столетова, еще от начала столетия. Все так же скудно читал никому не интересную историю физики Б. И. Спасский — сам себе кафедра, все так же качали маятник на физпрактикуме первокурсники — задача 3<sup>б</sup>), все так же на уровне 900-х годов преподавали... да и кому было задавать тон, когда ведущие ушли? Кто оставался?

Акулов, тензора создатель,  
Делец, а с виду Арлекин;  
Леднёв, столпов ниспровергатель,  
Тридцатилетний вундеркинд;

Д. Д. — знаток интерпретаций  
Явлений с помощью трех пальцев,  
Вот Власов, факультетский лев,  
Слепой фанатик буквы «f».

*«Евгений Стромвынкин» (с. 103)*

И особенно разительным был этот контраст между новым и старым в новом здании, в новое время, когда в двух шагах от студентов рождалась и делала гигантские шаги атомная промышленность, когда все бурлило... а здесь!? Все те же догмы Лебедева и Столетова, все тот же практикум, которому уж минуло пятьдесят лет. Он получил новый этаж, но по уровню по-прежнему оставался далек от жизни. Просто все примирились.

И вот новое поколение вдруг заявило об этом несоответствии во весь голос на IV комсомольской конференции физфака МГУ. А насколько это было непросто! Со смерти Сталина прошло всего полгода, до письма Хрущева по культу личности было еще далеко. Нужны были и смелость, и политическая грамотность, чтобы в то время так остро поставить проблему новой физики. И она была поставлена! Умно! Это и стало началом физфаковского подъема, временем рождения новых традиций.

\* Московский Ордена Ленина медицинский институт.

\* \* \*

Уж я не помню основанья  
Для гладкого голосованья.

*Б. Пастернак*

И только при голосованьи  
Глаза взводил. «За большинство!» —  
Такой был принцип у него.

*«Евгений Стромькини» (с. 100)*

Четвертая комсомольская конференция осени 1953-го года! Для меня было — и по-прежнему, через годы остается — чудом, что тысяча комсомольцев физфака так просто и легко подняли эту махину — физфак с его рутинной, консерватизмом и косностью — подняли и толкнули вперед так, что инерция сказывается и через тридцать лет. Именно молодежь, а не масса преподавателей-профессионалов. Ведь и они прошли фронт и лучше других понимали, что физфак отстал, но атмосфера 49-го, страх и крепкие жизненные пути держали их. И они молча шли по жизни — может быть, попрекая себя (а чаще оправдывая), готовые на соглашательство, на предательство интересов — своих, науки, единомышленников. Проклятая рабская покорность! И вдруг неожиданный взрыв, всплеск — и стало легче, все вздохнули свободнее, пусть на время, но вздохнули. Это и была Четвертая комсомольская, память о которой на физфаке вытравляют и по сию пору.

Пятый курс 1953–54 годов (не они ли создали потом «Дубинушку»?) был, видимо, внутренне сплоченным курсом. Не знаю, как они готовились, как думали, но сумели найти главную идею — письмо в ЦК. Конференция длилась три дня! Говорят, в первый день никакого начальства не было — бури не ждали. Она пришла неожиданно, когда в резковатых, но деловых выступлениях пятый курс вдруг заявил громко и определенно — пора учиться по-новому, пора кончать со старым научным укладом, не отвечающим времени, пора ломать отжившие порядки на факультете, надо писать письмо в ЦК. Это было так ясно, спокойно и убедительно сказано, что возразить им не сумели. Кого-то излишне «крайнего» обвинили в демагогии, но выступил глава делегации курса и, сказав, что это личное мнение выступавшего, дал ему принципиальную оценку. И возразить было нечего. Делегацию пятого курса поддержали четверокурсники, за ними потянулись молодые и горячие младшие, и началось...

На следующем заседании все начальство было уже в сборе — выступали и убеждали: не посылать письмо в ЦК, лучше в «Правду» или в «Комсомолку», в ЦК ВЛКСМ, но только не в ЦК. Их линия была так ясна, так откровенно политична, что над ними начали подшучивать. И вот, выслушав всех, конференция постановила — направить письмо в ЦК! И выбрала редакционную тройку — в нее вошел, помнится, Володя Неудачин. Володя прославился среди ребят своей прямотой и принципиальностью, ему долго потом вспоминали «грехи молодости» в Ученом совете физфака. Но дело было сделано — письмо утвердили и увезли.

Результаты сказались быстро. ЦК направило на физфак комиссию, видимо, во главе с И. В. Курчатовым (сегодня мы знаем, что главой был Малышев). Оплот конца сороковых — декана Соколова — сняли, деканат разогнали. Пришел Фурсов — «Вася» (Василий Степанович) — так и деканил до конца 80-х. Пришли академики — Ландау, Тамм, Кикоин, Шальников и другие, НИИЯФ обновился с приходом Арцимовича, Векслера, Грошева. Скачок был так явен, так резок, ком-

сомол завоевал такой авторитет, что сейчас это трудно себе представить! Через год после конференции Володя Неудачин стал секретарем физфака, потом Юра Днестровский, снова Володя — Неудачин второй, как шутили тогда. Ландау и Шальников внесли в Ученый совет предложения о пересмотре программ и курсов ведущих дисциплин, на факультете по инициативе И. Е. Тамма возникла кафедра биофизики (после двух десятилетий преследования молекулярной биологии!). Начиналось новое время — время признания кибернетики, генетики и боровской концепции дополнительности. С «разоблачениями» махизма, вейсманизма-морганизма и «лженауки кибернетики» было покончено. Начинался очистительный период, подъем — резкий подъем, расчистка того мусора, который копился годами. И подготовка новых поколений к новому. Это и было наше поколение — конца 50-х — начала 60-х — родившее целинные отряды, праздник «Архимеда» и грандиозные оперы физиков.

Но сначала комсомол еще раз громыхнул, хоть и не с такой силой и не так серьезно. На VII конференции снова были подняты большие вопросы учебной и научной работы студентов, и прежде других — вопрос о доверии, вопрос о свободном посещении лекций для старших курсов. Вопрос был поставлен круто и конкретно. Знакомое с силой комсомола руководство пошло на соглашение. Сразу «нашлось в архивах» письмо-инструкция министерства (И-100), по которому свободное посещение лекций разрешалось. До письма в ЦК от имени конференции не дошло, но попытка была сделана. И вот, после «обнаружения» инструкции И-100, на физфаке началось самое интересное — лекции контролировали сами студенты, они же контролировали учебу, отчисление и стипендии, распределения по кафедрам и государственное распределение на работу (традиция эта сохранялась, сильно урезанная, до конца 70-х), вводили новые спецкурсы, отменяли и вводили новые экзамены, военную подготовку для девушек — невообразимый набор экспериментов по учебной и научной программам. Студенты постепенно учились всерьез хозяйствовать на факультете, ставить вопросы по-рабочему.

Начал складываться деловой комсомольский актив. Из старшего поколения выделялся Володя Неудачин. Очень цельный человек, чрезвычайно прямой и даже резковатый в суждениях, принципиальный до мелочей, Володя был душой факультетского актива 50-х. Всегда окруженный людьми, необыкновенно подтянутый, он умудрился при огромных обязанностях секретаря факультета, вечной нервотрепке и текучке, написать диссертацию по теорфизике, которой занялся уже в аспирантуре — диплом делал как экспериментатор. Володя корнями своими был связан с НИИЯФом, где не случайно обосновалась вся старая гвардия комсомола — от Тулинова до Корнеевко: сказывался атомный век. НИИЯФ тогда резко выделялся на сумрачном физфаковском фоне и по уровню, и по боевитости, он рос и давал расти молодым.

На Четвертой вдруг встал на ноги и начал быстро расти другой герой нашего поколения — Слава Письменный. Будучи тогда второкурсником, он в силу случайных причин стал замсекретаря факультетского бюро — и для большинства неожиданно — председателем Четвертой конференции. Здесь он получил первый урок политического мужества и извлек из него много. Пожалуй, он первый осознал и позже сумел применить в деле тот грандиозный запас человеческой энергии, который только частью разрядился на Четвертой! Он нашел новый и неожиданный выход этой энергии — строительная целина, стал ее основателем, создал свою школу «целинных командиров». Конечно, не один — но об этом будет речь позже. Слава соединил человечность и энтузиазм с деловитостью. Да и политиком всегда был недюжинным. Впрочем, его время наступило в конце 50-х.

Третьим был Юра Днестровский — выходец с кафедры математики, что само по себе было необычно: верховодили вначале ядерщики. Юра был мягче других, добрее, просто душевнее. Никогда не бросал дела, но все-таки больше, мне кажется, его интересовали люди. Любил спорт, футбол на природе и легко находил общий язык с младшими поколениями. Быть своим, не чуждаться младших всегда не просто — Юра легко преодолевал эту грань, грань, испокон веков разделявшую на физфаке студента, преподавателя и аспиранта. На этой вечной разобщенности отчасти держался и держится по сию пору консервативный физфаковский уклад. Юра всем помогал, он был просто всем близок. С ним было легко.

На VII конференции 56-го года ярко проявил себя Толя Баранов. Он привлекал многим: из пролетарской семьи, вырос и учился в рабочем районе, был предельно, даже слишком, собран, отвечал за каждое свое слово, был великолепным организатором — ему верили. Он всегда ходил в паре со своим другом — Валерием Кандидовым. Школой Толи и многих ребят того времени была агитработа в Раменках. История ее восходит ко времени строительства МГУ, когда на стройке работали зеки, жившие в Раменках. Физфаковцы занимались среди них агитработой, проводили воскресники, лекции и беседы. Работа была еженедельной. Раменки — потрясающе грязный барачный поселок с высокой преступностью — был по-настоящему трудным участком. Работа была непростая — не каждому по силам. Нелегко прийти к строителям, часто бывшим зекам и агитировать их «за советскую власть». Но у них был страшный интерес к политике (после смерти Сталина он проснулся у многих), и принимали они хорошо. Особенно тех, кто, не бросаясь словами, умел помочь делом — улучшить жилищные условия, добиться ремонта барака... И в физфаковском агитколлективе сложилась группа таких ребят. Оттуда и вышел Толя — страстный политик, глубоко убежденный человек, очень цельный и прямой. Он-то и решил разобраться всерьез в учебных и научных проблемах факультета.

Но все повернулось иначе, сложнее. Когда после Седьмой конференции в бюро Неудачина-второго вошли Баранов и Кандидов, они с одной стороны потянули вперед агитработу, а с другой — начали влезать в учебную и научную работу факультета — в болото методкомиссии Ученого совета. В агитработе они развернулись всерьез и выпустили по материалам рейда в Раменках стенгазету на факультете — одни факты. Газета произвела эффект бомбы. Ее немедленно сняли, а организаторам всыпали перцу. Баранов, кажется, был выведен (несмотря на Володину защиту) из бюро. Не знаю, дали ли ему выговор, но явно припомнили попытку написать письмо в ЦК на Седьмой. Позже он «реабилитировался», но остался и дальше таким же до крайности прямолинейным. Целина строительная обязана ему многим.

Четвертая конференция сильно ударила по консервативной части физфака, но сохранила, несмотря на вмешательство Курчатова, ее руководство в Ученом совете и парткоме. Удивительно, как подолгу в физфаковском парткоме крутились одни и те же лица — как медленно обновлялась организация. На этой базе и выстроилась оппозиция новому. Оплотом ее стал И. Ольховский — замдекана по учебной работе в 1954–61 годы. Он оказался умным консерватором. Для преодоления анархистских тенденций комсомола был выстроен новый административный аппарат — деканат. До конца 1954 года деканат был примитивен: замдекана да пара инспекторов для канцелярии. Всю текущую работу вели сами студенты — старосты, комсорги, курсовые бюро. Четвертая и Седьмая конференции особенно усилили их влияние. Но теперь была создана машина. На каждом курсе был учрежден инспектор — женщина-администратор, часто с минимумом образования, она и взяла в руки власть, максимально все бюрократизировав — зачисление, от-

числение, выдачу стипендии, свободное посещение, экзамены, зачеты. По существу ее толкали быть «хозяйкой курса», и главное для нее было — посещаемость. Сути учебы она не знала, да и не могла знать. Ей за это деньги не платили.

Система эта складывалась постепенно. Курсы, имевшие боевые традиции Четвертой и Седьмой, Ольховский не трогал, они естественным путем уходили с физфака с течением времени. Но каждый новый курс чуть прижимали, и он что-то терял, сам того по наивности не замечая. Зачем было самим что-то делать, если на то есть инспектриса, а над ней старший инспектор и начальство. Аппарат разрастался. Он полностью стабилизировался, когда во главе был назначен полковник в отставке. Предел совершенства традиционного русского воспитания!

А Фурсов не видел сверху этих перемен и не входил в дела студенческие, полностью предоставив их Ольховскому. Поначалу он сильно считался с комсомолом, но время шло, проще было не вмешиваться в естественное течение событий. Почему-то много лет подряд на комсомольских конференциях он призывал нас учиться разговорному английскому. Вполне безобидная тема в наше горячее и бурное время созидания нового. Впрочем, до начала 60-х он никому не мешал. Его тогда мало интересовал физфак — он был деканом по совместительству.

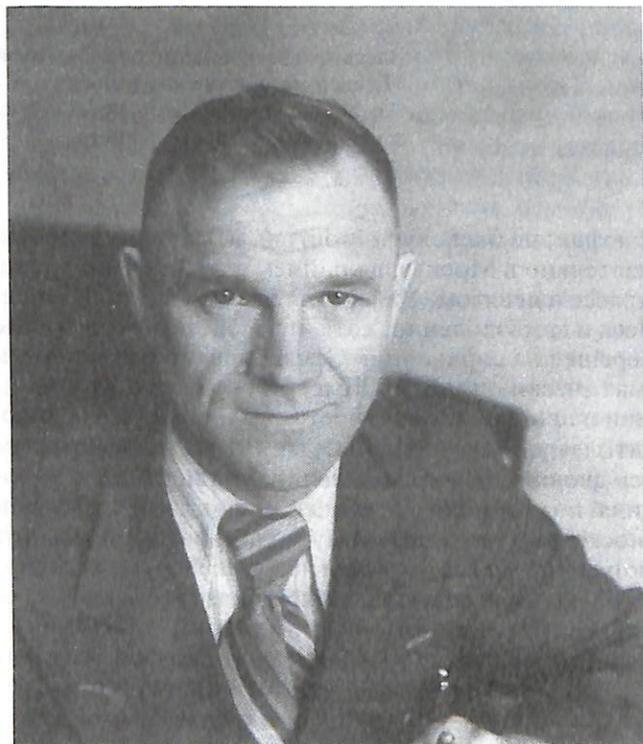
\* \* \*

Здесь мчалось детство синей птицей  
На сверхвысоких скоростях...  
Ах, видно, так вся жизнь промчится,  
в ушах, как ветер, просвистя.

*«Евгений Стромькиш» (с. 98)*

Приезд мой в Москву, на физфак, не был случайностью. Мысль об учебе на физическом факультете, и обязательно в Москве, в крайнем случае Ленинграде, родилась как-то сама собой классе в девятом. Увлекался я математикой. Увлекался с шестого, седьмого класса и самозабвенно, хотя и бессистемно изучал ее сам. Начал с алгебры, затем перешел на справочник Семендяева и был поражен красотой и изяществом математических понятий. Быстро осознал ограниченность элементарной математики в школьной интерпретации и полез в высшую. Здесь мои занятия сильно подтолкнули две случайности. Во-первых, в нашем доме в Свердловске поселилась двоюродная сестра Нелли, учившаяся в Уральском политехническом на химика. Ее учебники по высшей математике завладели моим воображением. В особенности интегралы. Почему-то дифференцирование не казалось мне тогда чудом, понял я его легко и принял как должное, хотя и весьма поверхностно, но считал, что знаю. Да и не пленяло оно меня. Зато интегрирование увлекло необычайно. Я самостоятельно разобрал по учебнику ряд примеров и дополнил их справочными интегралами из Семендяева. На этой базе мне удалось создать весьма своеобразную систему собственного интегрирования. Сейчас просто невозможно ее возобновить — последующее обучение стерло все следы, но хорошо помню, что при всей ее кажущейся стройности в ней почему-то отсутствовала замена переменных в подынтегральном дифференциале. Ума не приложу, как я без нее обходился, но, к сожалению, ни одной моей старой тетради до настоящего времени не сохранилось, и понять систему моего тогдашнего мышления не представляется сейчас возможным. Во всяком случае эта тренировка способствовала, видимо, формированию самостоятельности и любви к красивой математике.

Второй толчок дала книга Боброва «Волшебный дворог». Это была прекрасная популяризация теории чисел, топологии и элементов высшей математики, написанная как приключение школьника в волшебном математическом мире. Ведут его сквозь научные дебри и лабиринты комические персонажи — Радикс и Уникурсал Уникурсалович, весьма болтливое и остроумное существо, вносящее, несомненно, существенную юмористическую ноту в похождения школьника своими необычайными выходками. В книге были там и сям разбросаны всяческие математические диковинки: уникарсальные фигуры, теория лабиринта, теорема Ферма, простые числа вида  $2^{2^n} - 1$ , совершенные числа, конические сечения, исчисление бесконечно малых. Мало того, что эта книга давала пищу уму и стремлению узнать новый строгий мир — она как-то отражала его в юмористическом духе, легко и играючи учила. Она открыла мне в мире чисел не только занудную систему, но и озорство, юмор и неожиданность. Естественно, она подхлестнула мое увлечение математикой. И хотя попала она сначала совсем случайно, но затем отец сумел купить мне экземпляр книги в Москве, и она завладела мною. Все это было до девятого класса.



*Школьный математик Г. А. Иванов  
(школа № 37, г. Свердловск, 50-е годы)*

А в девятом я как-то вдруг повзрослел и по зрелом размышлении принялся изучать физику. Начал, кажется, с «Атомного ядра» Корсунского. И чисто умозрительно пришел к весьма парадоксальному выводу: математика суховата, оторвана от жизни — надо искать свое призвание в науке, которая соединяет математическую красоту с красотой реального мира — в теоретической физике. Парадоксальность вывода состояла в том, что он начисто разошелся со школьной действительностью: физика была у нас самым нелюбимым предметом.

Математику с восьмого класса преподавал Георгий Алексеевич Иванов — прекрасный педагог и фантазер. По крайней мере в наше время он не просто преподавал математику — он жил ею. Впервые, только придя в школу с фронта по демобилизации, он вдруг устроил у нас в седьмом математиче-

ский вечер на «ура». Кроме головоломок и шарад он неожиданно для всех написал пьесу на тему школьной жизни с участием геометрических фигур. Исполняли ее ребята нашего класса, самого хулиганского класса 37-й школы, сразу воодушевив-

шиеся необычным делом. На сцене, как помнится, сидели и обсуждали школьные проблемы Куб, Треугольник, Перпендикуляр. Это было так ново и увлекательно, что наш класс как один пошел в математический кружок «дяди Жоры» и предан был ему до конца. А он и сам увлекся вместе с нами этой игрой. В восьмом, девятом классах мы устраивали такие же вечера отдыха, ставили сценки с математическими символами, выдумывали костюмы для них, устраивали математические викторины и танцы по циклоидам и синусоидам. На вечера приглашали девочек из соседней 38-й женской школы и, главным образом, из женской 36-й, с которой мы особенно подружились через Гельку Чигвинцева. В этой школе учились девочки, родители которых работали в УПИ, во ВТУЗ-городке Свердловска. Девочки были умненькие, боевые и развитые. Ясно, что вечера эти и танцы имели особый успех. А в десятом наши классные таланты: Вилен Житомирский, Юрка Агапов, Рэль Матафанов, Валька Людмилини написали пьесу сами, используя как конференс моего любимого героя Уникурсала Уникурсаловича, который к тому времени уже стал героем всего нашего класса. За мной особенных актерских талантов не водилось, и я, помнится, исполнял какую-то скромную роль прогрессии — то ли арифметической, то ли геометрической, то ли обеих вместе. Блистал Вилен Житомирский в роли Уникурсала.

Таков был наш математик, у которого я ходил в председателих математического кружка. Но физичка была его полной противоположностью. Пределом ее педагогических стремлений были усидчивость и аккуратность. Учить бы ей в женской школе — нет, она пошла в мужскую. Вечное озорство вокруг огрубело ее, и идеал свой она сформулировала в казарменном духе: «Не имей золотой головы, имей чугунный зад». При том буйстве фантазии, которое сопровождало математика, она была слишком скучна и не могла удовлетворить кого-нибудь своими примитивными идеалами. Вот и колебался я от практики — уроков физики к теории — идеалу, выстроенному из высших соображений. И колебания отражались в отметках. Помню две последние четверти: два, пять, два, пять. В конце концов физичка не выдержала характера, зачеркнула двойки и поставила за год пять. Но уважения от этого к ней не прибавилось. Физика все так же манила в абстракции, а реальное воплощение в действительность откладывалось в надежде, что есть на свете интересные физики, по буйству фантазии близкие Георгию Алексеичу.

И вот, верный своему идеалу, в надежде его воплотить, я пишу письмо на физфак МГУ, получаю приглашение и в начале июля вылетаю в Москву поступать. Как серебряный медалист я имел тогда преимущество — достаточно было пройти собеседование, и меня бы приняли без экзаменов. Отец мой съездил в Москву по своим делам, зашел на физфак и все разузнал. Я сидел на чемодане, читал Фриша для подготовки и ждал его приезда. Наконец он приехал. Настала пора делать решающий шаг.

\* \* \*

**Встречал ли ты провинциала,  
что первый раз попал в Москву?**

*«Евгений Стромьнкин» (с. 129)*

Самолет Ил-14 неторопливо шел среди кучевых облаков. Они сопровождали нас от самого Урала, громоздились снизу и сбоку, непрерывно дымаясь и переливаясь. Самолет иногда проваливался, сердце екало, но он снова выравнивался и тихонько пробирался дальше. В голове был туман, временами я засыпал, просы-



*Герой. Начало студенческих лет*

пался вновь, а он все ревел и ревел моторами. Сначала снежная пустыня под крыльями и причудливые формы облаков развлекали меня, но потом усталость от сборов, советов и ожиданий сморила вконец, и я неглубоко заснул. Проснулся при посадке в Казани. И здесь было туманно, утро свежее, но без солнца. После сна и духоты салона хорошо дышалось. Ожидание нового заставило меня выскочить из отдохавшего самолета, сбегать на аэровокзал. Послonyaвшись по заспанным залам, купил что-то поесть. Вокзальная обстановка не снимала напряжения. Что-то будет в Москве? Не терпелось.

Погода в Москве оказалась на редкость. Солнце, раннее утро — все улыбалось мне навстречу. Я ощущал себя искателем приключений. Меня возбуждало все: вагон электрички из Быково, набитый до предела по утренней московской традиции, гулкие казематы переходов Казанского вокзала, мраморная лестница «Комсомольской-радиальной» с балконом над подъездными путями, переполненный толпой «Охотный ряд», пестрая толпа машин у перекрестка «Метрополя», вывеска ресторана «Националь», американское посольство. Накануне отец рисовал мне на плане этот путь к Университету — теперь он воплощался в улицу, толпу людей и громады зданий. Но я шел по нему уверенно, легко, зная, куда свернуть, где переходить, не спрашивая, на равных. И эта уверенность создавала во мне удивительное чувство удачливости, реальности. Мечта и ее осуществление жили во мне в один и тот же момент и создали вдруг, слившись, для меня самого неожиданный эмоциональный подъем, веру в свои силы. Поворот в небольшие ворота, и вот оно — здание Университета на Моховой, непрерывный ряд скамеек по левую руку с неуверенными абитуриентами и знающими себе цену скучающими студентами перед большой пустоватой клумбой. И меня не удивил уже длинный сумрачный коридор с пустующими вешалками по бокам, еще одна сумятица лестниц и огромный, с куполом, зал, в котором по кругу стояли столики с названиями факультетов. Я легко

и уверенно подошел к столику с табличкой «Физфак» и спросил, улыбаясь: «А мне к вам на факультет можно?» Дежурные заулыбались в ответ.

Это настроение радостного подъема не оставляло меня весь день. И как-то с удовольствием подчинились мне ребята-абитуриенты, разыскивавшие, как и я, Стромынку, куда нас направили жить, как-то легко и непринужденно вошли мы к коменданту, получили направления, пересекли колодец стромынкинского двора, забрались на третий этаж и длинным коридором подошли к дверям «своей» комнаты. Постучался. Может быть, в глубине души я и робел — ведь это была моя первая «своя» комната общежития.

Все оказалось просто. Комната была набита кроватями. Кто-то читал, кто-то пил чай, трое ребят разговаривали. Комната выходила окнами во внутренний двор — окна были настежь. Все были абитуриенты, чувствовался говорок волжанина, кавказские ноты жителя кубанских предгорий. Медалисты проходили собеседование ежедневно, и судьба некоторых уже была решена. Помню неунывающего парня, собиравшегося в Ленинград, помню разговоры о Физтехе и возможности повторить экзамен еще раз, уже в общем конкурсе. Я был среди своих.

Странное свойство у памяти. Мне не раз приходилось убеждаться, что в спокойном состоянии помнишь туманно, в возбужденном — ярко, но детали, а в моменты работы, особенно с подъемом — как отключаешься. Ни дня, ни ночи — как не бывало. Вот и эти дни была сплошная работа, подстегиваемая окружающей обстановкой, изредка прерываемая прогулками вблизи Стромынки да вечерней свистопляской ошалевших абитуриентов во дворе-колодце, когда вдруг у всех разом напрягаются нервы. Все это как-то оборвалось в день экзамена, точнее — собеседования.

Снова я шел знакомым путем на Моховую, 9. Легкость, уверенность — все это было, но нужен был еще один маленький толчок — случай. И вдруг на знакомом пути, у витрины книжного магазина, за шаг до американского посольства я замер. Знакомая фигура — чуть откинувшись назад, руки за спину, стоит полноватый улыбчивый человек. «Дядя Вова! — поразился я, — наш литератор!» Это было как снег на голову. «Дядя Вова» был чудак. Его наш класс обожал за вечные шутки, за любимую оценку — кол (легко переправить на четверку, говаривал он), за стенные газеты о писателях, которые он выпускал самым беспощадным способом («Опарин, — говорил он, входя в класс, самому бесшабашному нашему троечнику, — что Вы предпочитаете: два или газету по Горькому?»), за то, что он предложил выучить наизусть всего «Евгения Онегина» — и пять за год обеспечено (учили все, но пороху не хватило, я и сейчас знаю только три главы). Чудак, да и только! Поздно понимаешь его.

Я бросился к нему. «Да, — заулыбался он мне, — вот ведь встреча! А я кончал филфак МГУ, здесь, на Моховой... На собеседование?.. Ну, пойдем вместе, я за тебя поболею». Он как чувствовал, что мне нужна поддержка. Мы вместе вошли в красное кирпичное здание старого физфака и по крутой лестнице поднялись ко входу в физкабинет. Там была толпа. Я прислушался. Все обсуждали вопросы коммиссии.

Пока шла оживленная дискуссия, пока выказывали свою эрудицию новички, еще не прошедшие собеседование, их отцы и случайные студенты — «дядя Вова» исчез, я и не заметил куда. Наконец, пошел в кабинет и я — вызывали поодиночке. Сильно волновался. Что-то, помню, спрашивали про полное внутреннее отражение света, да какие книги читал, да почему именно на физфак. Выскочил я с ощущением провала и, не разбирая дороги, понесся домой, на Стромынку — решил немедленно брать документы. Звонил ночью в Свердловск и уверял отца, что прова-

лился, а он убеждал — подожди результатов. И верно говорил — через два дня узнал, что приняли. А «дядя Вова» знал в тот же день, да найти меня не мог после собеседования. След простыл! Так я оказался на физфаке.

\* \* \*

Отсюда он, во-первых, может  
Зайти в Лаврушинский и там  
Смотреть «Явление Христа»,  
Иль мелкий Репина эскизец,  
Или пшеничные поля,  
Что на полотнах наваял  
Ведущий ныне лживописец...  
А путь второй —  
Пойти кататься на метро.

*«Евгений Стромькин» (с. 129)*

С сентября началось познание нового мира. Физфак размещался тогда во дворе Моховой, 9. Если войти в сквер перед фасадом старого университетского здания и не подниматься к массивным дверям, а нырнуть под арку с тяжелым сводом, то, пройдя гулким коридором мимо столовой и разных дверей монастырского типа, попадаешь в покойный внутренний двор Университета. Слева — выход на Герцена, к клубу, юрфаку и консерватории — прибежищу физматской богемы, справа — красный кирпичный физфак. Вход — снова парадная каменная лестница до второго этажа, вешалки и слева поворот запутанными переходами в Большую физическую аудиторию. По коридору много нешироких комнат с высоченными потолками, превращенных в аудитории, многочисленные случайные лестницы и лабиринты пристроек. Парадный мир выходил на Манежную площадь — здесь царил XIX век, в крайнем случае — начало XX.

Зато с парадного входа дороги вели в исторические места. В дырках между занятиями можно было посидеть в Александровском саду у Кремля — внутрь Кремля тогда еще не пускали, — поболтать по Охотному ряду до «Метрополя», сходить там в кино или, поближе, в стереокино. Рядом была гостиница «Москва», куда мы забегали за английскими газетами, вездесущее метро, Большой театр. История окружала тебя и кружила голову. Консерватория, театр Маяковского, библиотека Ленина, чуть подальше Пушкинский музей. Мы бродили мимо этих реликвий, очумевшие от счастья, и наслаждались осенью, падающими листьями кленов и тополей, красными закатами дымной столицы. Мир был удивительно красив, благожелателен и приветлив. Вокруг были новые люди, повернутые к нам лицом.

Им мой гимн! Кажется, нет в жизни большей удачи, как сразу, в один день и час приобрести навсегда два десятка друзей. Как и ты, они открыты тебе навстречу, как и ты, они пережили только что жгучую радость исполнившейся надежды, как и ты, они только вышли из дома родительского, легко ранимы и хотят тепла. Жизнь не огрубела их. Пока.

С кого начать? — нетерпеливо и радостно думаю я. Пожалуй, все-таки с Ленки Пыхова!

Не знаю, по чьему глубокомысленному указанию он стал комсоргом нашей группы, но выбор был удачен донельзя. Мягкий, чуть более степенный, чем другие, чуть более спокойный и вдумчивый, чуть более ответственный — он как-то незаметно стал душой группы. Есть такие люди — обаяние им присуще от природы. Как он осознал тогда, что каждый из нас нуждается в опоре? Как он догадался, что

эта опора — группа? Да и действовал ли он сознательно? Не знаю. Но результат мне виден — мои ближайшие друзья по духу и сейчас оттуда. Может быть, их просто реже видишь.. Наверно, он просто подтолкнул нас друг к другу — нас, и так бессознательно искавших этой встречи... Так ли, иначе, но все это вылилось в организованную форму «работы в группе». Группа была для нас всем. Мы вместе занимались, вместе сидели на лекциях (симпатии сложились удивительно скоро), вместе ходили обедать, залезая всем скопом в очередь к своим, вместе обсуждали на комсомольских собраниях недочеты по контрольным и физпрактикуму, вместе помогали «отстающим», вместе собирались в праздники и дни рождения. Мы и ходили тесной кучкой — организованные и влюбленные в группу. Леня просто ясно выразил это наше общее желание.

Другой нашей симпатией была Таня Галкина. Развитая, симпатичная, по-спортивному гибкая, уверенная в себе девушка, хватавшая на лету мысли и чувства, — она стала центром притяжения ребят и девчонок. Она легко сходилась с любым человеком. Дом ее, запутавшийся в старых переулках вблизи Моссовета, быстро стал и нашим домом. Девчата бегали к ней заниматься в пересменках, мы бывали там реже, более официально, на вечерах, но вечеров этих было много. Родители ее, сами из МГУ, встречали нас радушно, отдавая в наше распоряжение кухню и гостиную, где мы сидели, танцевали, немного пели, а больше смеялись и болтали без умолку. Все любили Таню: она и вправду была хороша собой и обаятельна. Впрочем, я ее дичился...

Мои симпатии долго колебались между Рогнедой — Тэдой, как мы ее называли, и Гетой. Рогнеда была темной южанкой, но чуть сдержанной. Шутила мягко, немного кокетничала, но была привлекательна и без того. Чуть сухошава, темные глаза и волосы колечками. Мне всегда хотелось их потрогать, но и до сих пор не знаю, жестки ли они. Гета — полное имя ее было Гертруда — была тоже обаятельной и мягкой девушкой с русыми волосами в две косы. Лицо широкое, русское, чуть курносый нос. Заплетала она косы так, что волосы не ложились гладко, а сначала двумя ушками обрамляли крутой лоб. Красный берет и простое, на манер школьного, платье придавали ее тонкой, стройной фигуре чуть простоватый вид. Голос у нее был грудной и удивительно нежный. Тэда и Гета дополняли друг друга как царица дня и царица ночи. Но приоритет Тани Галкиной они признали без колебаний.

Среди мальчишек группы прежде других мне помнится Гена Жмыхов — спокойный и ласковый мальчик с мягкими, необыкновенно красивыми глазами. Весь он был какой-то нежный, хрупкий, казалось, тронь — рассыпется, с тихой улыбкой и негромким голосом. Голова светлая, талантлив, но весь как-то не от мира сего. Хотелось его приласкать, подбодрить и, наверно, потому у него в товарищах были то повывавший виды Борис Лысов, то развитой, уверенный и интеллигентный Витя Чернуха. И весь-то Гена был красивый и домашний, как девушка.

Зато Борис выделялся своей взрослостью, цельностью и анархизмом. До нашей группы он побывал уже в паре институтов. В силе своей уверился, но лентяйничал: или не нравилось что, или себя еще не нашел. Поучившись недолго, уходил в другой вуз. Все искал что-то — видно, себя. Жил один, без отца и матери, в ветхом домишке за Рижским вокзалом. Дом его был всегда вверх дном — на полу, столах и стульях двух комнатух с общей печкой валялись раскрытые книги: физика, Гегель и математика вперемешку с английским. Он и в нашей группе сначала жил на отшибе — приходил и уходил не здороваясь, когда и куда хотел, но Леня, со свойственной ему человечностью, понял его одиночество, поехал домой, послал кого-то в другой раз, с девчатами посекретничал — и пригреб Бориса. Тот признал



*С друзьями-первокурсниками у старого физфака:  
Рустем, Игорь, Владик, Саика, Гена, герой*

группу своей и наотмашь и сразу полюбил, хотя и выборочно. Впрочем, оставаясь все тем же человеком в себе.

Пожалуй, самым мне близким стал Рустем. Есть такая странная национальность — московский татарин. Рустем был стопроцентным московским татаринном. Живой, как ртуть, черноглазый, огненный какой-то по темпераменту, весь — порыв. Страсти и увлечения в нем так и кипели — он отдавался им до конца. Было ли то решение задач по интегралам — бесконечное число их решалось перед частыми контрольными, поход в Большой театр с ночевкой в очереди за билетами, групповой вечер у Тани, где надо было лазать по водосточной трубе в порыве блаженного безрассудства, помощь отстающим — Рустем бросался в дело как в воду и «плавал» самозабвенно. Махал руками, барахтался, развивал кипучую деятельность. В нем всегда горел огонь, неудержимая жажда дела, новых лиц, впечатлений. Я отдавался этому потоку и тоже крутился в нем, внося, быть может, чуть сдержанности. Но как он был хорош, темпераментный Рустем с горящими глазами. И не так важно, на что тратилась энергия — ее надо было тратить, она была избыточна.

К нашей компании как-то потихоньку привязался Володя Филиппов — Фосик, как звали его девочки, прежде других Рогнеда. Родом из Ставрополя, с южной, еще не проснувшейся кровью. Интеллигентный, артистичный от природы, он очень любил играть, чуть даже кокетничая. С Тэдой в паре они были неподражаемы. Тэда придумывала какую-нибудь сценку, Вовка подыгрывал. Они запросто изображали влюбленную пару, хохотали и шутили до упаду, передразнивая преподавателей или увальня Толю Мачнева, или его друга Игоря. В Володьке была бездна юмора, но он еще не проснулся душой, глубины в нем пока не ощущалось —

больше смеха, кокетства, игры. Они очень подружились с Ленькой, который своей солидностью оттенял Володькину легкость.

Крутилась около нас еще Раечка Иванова — невысокая брюнеточка, влюбленная в Гету, Рогнеду и Володьку. Внешне не яркая, она светилась изнутри теплотой и домашней мягкостью. Жила она в Москве вдвоем с мамой, и девчата иногда бегали к ней погреться у домашнего очага. Раечка любила смеяться, и смех у нее был звонкий, немного грудной. «Гета, — говорила она, чуть растягивая букву “е” и оттеняя “а” на московский манер, — ты сегодня как Красная Шапочка. Где же Серый Волк?» Володька любил ее поддразнивать.

А Рустем был явно симпатичен Тамаре Верещаковой. Натура на первый взгляд простая, но в глубине очень целеустремленная, крепкая, с хитринкой — Тома выделяла его среди остальных, вечно оказывалась около нас, осторожно вставляла слова и реплики. Простое лицо, две косички крест-накрест сзади. Удивительно выносливая и верная в любом походе. Надежность в ней чувствовалась недюжинная. Любой рюкзак унесет, хоть ночь просидит с тобой у костра или палатки, только скажи «надо».

В этом кругу друзей оказались мы на физфаке с первого дня. Конечно, группа была больше, симпатии расходились в ней волнами, цеплялись одни за другие, перекрещиваясь, интерферируя. Все мы в группе были связаны сложной паутиной человеческих отношений. Где-то завязывались узелки, где-то были тонкие ниточки. Жизнь звенела в каждом из нас серебряным колокольчиком.

\* \* \*

А море черное ревели и стонало,  
На скалы с грохотом бежал за валом вал,  
Как будто море жертвы ожидало.  
Стальной гигант кренился и дрожал.

*Из студенческого фольклора 50-х*

Несколько неожиданно меня, уже привыкшего к длинным коридорам Стромынки, вдруг отправили жить за город, в Бутово, 40 километров по Курской дороге. Основную массу первокурсников поселили на Каширском шоссе, меньшую — на Ленинградском, а нас — с десяток случайных — на частную квартиру, снимаемую университетом у подвернувшейся хозяйки. Да еще по другую сторону желдороги, тоже в Бутово, десяток других таких же бедолаг. Ездить было далековато — на электричке 40–50 минут, если повезет, потом на метро один прогон до библиотеки Ленина и, пробежавшись по Грановского, выскакиваешь на Герцена. А тут рукой подать до физфака.

Зато у нашей жизни на отшибе оказались свои романтические стороны. Жилье было не ахти какое: длинная, пустая, без мебели комната — три ряда кроватей да стол посередине. Слева от входа выгорожен был небольшой закуток у печки, на хозяйской половине. В нем на правах старших жили два второкурсника — Ким и Фомецкий. Ким был широколицый, ленивый парень из Тувы. Сообразительный, но какой-то флегматичный. Ему было лень рано вставать, ехать на шестичасовой электричке — он предпочитал поспать у теплой печки и почитать, даже просто помечтать. А если заведутся деньги, сбежать на близкую станцию, купить пива и погрустить со стаканом. Из-за своего неторопливого образа жизни он вечно выезжал в Москву днем и вечно попадался контролерам без билета. Здесь он был чемпион — к концу года попался около двухсот раз.



*Вечер в бутовском общежитии — Ким, Ярба, Фомецкий*

Езда на электричке без билета была нашим олимпийским видом спорта и развлечением в сутолоке буден. Утром в тесноте часа пик иначе ехать было и нельзя, вечерами контроль ходил редко. Экономия на месячном была невелика, но все же при бесконечном денежном голоде — была. Тем более с фотографиями замучаешься — вечно нужны фотографии. Вот и возник захватывающе острый поединок — безбилетник и контролер. С контролем играли как с огнем: перебежали у него под носом в проверенные вагоны, изучали маршруты, приемы ловли, наконец, просто их психологию. Кто клевал на «бедного студента», кто на «опаздывал на электричку», женщины просто жалели. Но Ким был бесподобен — он никогда не бегал, согласно вставал и плелся за контролем через весь поезд в последний тамбур, выслушивал нотации, требования документов, давал фамилию (деканат умудрялся выдерживать бесконечные письма по нашему поводу), но денег не платил никогда.

Как ни странно, но учился Ким хорошо. Собственно, на лекциях он бывал редко, но сессии сдавал неизменно на 4 и 5. Подводила его вечно физкультура, по ней у Кима был длинный хвост — он не являлся на нее. А когда приходил, не сдавал норм. Потом решил не ходить совсем. Так и тянулся за ним этот вечный хвост по физкультуре. Кончилось тем, что на третьем курсе (а может, даже на четвертом!) его все-таки отчислил Ольховский за несданный на первом курсе зачет по физкультуре. Это был редчайший случай.

Вторым старшекурсником был Леня Фомецкий. Моряк, с усами, в бушлате и матроске. С гитарой, украинским говорком, шуткой и вечной беззлобной ухмылкой по нашему адресу — неоперившихся салажат — первокурсников. А шутил он великолепно. Помню зимний вечер, окна замерзли, мы жмемся к печке и под одеяла. Тихий разговор, кто учит, кто отдыхает. В печке трещат дрова. Ким сидит перед дверцей печки и мирно шурится на угли, подперевши щеки ладонями. Вдруг

топот под окнами, в прихожей. С грохотом врывается Ленька, валится на кровать и начинает неистово хохотать. Мы собираемся вокруг него кучкой и жадно ждем объяснений. Но он хохочет минут пять без умолку, то всхлипывая, то снова оглушительно. Потом начинает рассказ. Он шел с электрички по мосту через пути. С электрички вышел он да еще кто-то из наших парней, чуть впереди. Электричка ушла, просверкала вдаль. Их было двое на мосту. Время позднее. Ленька решил пошутить. Подошел сзади, хлопнул по плечу: «Снимай пальто!» Парень оглядывается. Рыжий, но не наш! Немая сцена. «Тут, — говорит Ленька, — мы оба кинулись бежать. Он — в одну сторону, я — в другую. Еле добежал до дому. Чуть не сломал дверь. А куда тот кинулся — не знаю». Мы все хохотали часа два.

Ленька Фомецкий был у нас душою общества. Ему мы обязаны самыми светлыми минутами. Это были песни. Обыкновенно, когда деньги приходили, или посылка из дома кому обобществлялась, или просто настроение — посылали с ведром за пивом. Ведро пива! Все рассаживались вокруг немудреного стола и по кроватям, съедали хлеб и консервы, что припасалось, и начинались песни. Ленька брал гитару:

Черные стрелки, колесики стучат,  
Быстро как белка мчится циферблат,  
Лучшие годы проходят предо мной.  
Из флота меня выпустят седею бородой.

Бодрый старикашка — он приятель мой —  
С флота тоже вышел с седею бородой,  
Вместе мы служили на лодке на одной:  
Там он был командором, ну, а я был рулевой.

Вместо реглана старенький тулуп,  
Вместо нагана берданку мне дадут,  
Тихо и скромно двигаясь вперед,  
Вокруг универсама совершаю свой обход...

Ленька был полон песен того времени, пел их ярко, «с чувством», щедро, без остатка выплескивая их нам. И лилась песня о влюбленном моряке Джоне, вечном неприкаянном бродяге, красотке Мэри и портовых кабачках.

В гавани, в далекой гавани,  
Где маяки давно зажгли огни,  
Из этой гавани уходят в плаванье,  
Уходят каждый вечер корабли.

На кораблях матросы злы и грубы,  
Кричит сквозь зубы свирепый капитан,  
У юнги Билли вздрагивают губы,  
Он ищет берег сквозь морской туман.

На берегу осталась крошка Мэри,  
По ветру вьется у нее коса,  
Пускай же Мэри крепче любит Билли,  
А Билли крепче вяжет паруса...

Эти песни тех времен, занесенные к нам в войну с американскими и английскими судами, песни про моряков и ковбоев, любовь и иные страны трогали нас своими романтическими струнами. В них были яркая страсть, самозабвенная любовь и одиночество, тоска по дому. Усталые, «забуренные» первокурсники, исполненные трепета перед грядущими экзаменами, растерявшиеся от обилия задач по ма-

танализу, физике, практикуму, от вечной беготни по стадионам, лекциям, семинарам, переполненные желанием охватить необъятное — мы с благоговением внимали спокойному, франтоватому морячку, прошедшему огонь, воду и медные трубы своей судьбы и физфаковских твердынь. А он пел и пел. Песни романтического балладного эпоса сменялись суровыми песнями военного времени — малоизвестными:

На ветвях израненного тополя  
 Легкое дыханье ветерка,  
 Над притихшим рейдом Севастополя  
 Ни серпа луны, ни огонька.

От тюрьмы кварталами сожженными,  
 Раздвигая грудью мрак ночной,  
 Шел моряк, прощаясь с бастионами,  
 Тихой корабельной стороной...

Песен было много — драматические, лирические, озорные, — но все новые, не многие были мне знакомы по пионерским лагерям, большинство неизвестных. И становилось теплее в нашей дымной, вечно выстуженной комнате, теплее на душе, и всех я любил — и ленивого Кима, и соседа-украинца Игоря Бойко, с которым делились посылками, и рыжеватого экономиста Володьку, и земляка из Кургана Сашку Бартова. И больше всех усатого балагура Леньку Фомецкого.

А жизнь наша бутовская, в основном ночная, между тем бежала помаленьку. Пруд у дома застыл, на коньках кататься, на санках. Меньше страдали от вечной грязи по колено, больше — от холода. Я еще на беду свою сжег у печки подошвы ботинок, они распухли, и я гулял в них, изрядно потолстевших, некоторое время.



*Ленька Фомецкий*

Ходили мы вечно невыспавшиеся, в лыжных костюмах, не привыкшие еще к самостоятельности, без денег, жившие от стипендии до почты из дому и снова до стипендии. Вздохом облегчения мне был очередной приезд в командировку отца. Он вытаскивал меня из Бутово, селил с собой в небольшой гостинице при Гипромезе\*, обмывал, кормил в ресторане до отвала и давал вдоволь наболтаться. И снова беготня, вечная беготня — с электрички через вокзал в МГУ, потом в Сокольники на семинар, потом на стадион там же или хуже — на Красную Пресню, снова практикум на физфаке, лекции в Анатомической Первого МОЛМИ, в Ботанической и Зоологической аудиториях. Спать хотелось, и мои новые друзья, бывало, заваливали меня шубами на лекции по математике в Большой физической (мест на вешалке не хватало) — и я сладко спал под монотонный рассказ Поздняка о кривых второго порядка. И снова беготня. Жизнь моя шла в метро, на вокзале да в милой моему сердцу группе. Куда бы я без нее делся. Да отдых — Бутово и песни Леньки Фоменского, да незамысловатая мужская компания: десяток первокурсников и двое старших — второкурсники.

\* \* \*

Первый курс для меня — это дороги. С утра — осенью в полусвете, зимой в темноту — выскакиваешь из теряющего тепло дома на улицу и летишь, опаздывая, к электричке на 6.40. Собственно, летишь — это образно сказано. Осенью прямо с крыльца нашей половины дома, выходявшей к старому, заболоченному пруду, мы попадали в грязь. Бутовская грязь была непревзойденной — ее описывали в стихах, единица 1 «бут» была эквивалентна миллионам «кашир». Редко доходили до станции — она была в трехстах метрах — с грязными ботинками. Чаще по колено. Кажется, расстояние-то невелико: пройти по двору вдоль стены в три окна, перейти дорогу, подняться по тропинке мимо строящегося дома, повернуть направо, пересечь площадь — и вот он, станционный буфет и асфальтовый пол. Ан нет! Двор еще был относительно ухожен, но десять метров дороги — непроходимое болото, где терялись надежды и полуботинки. Последние с трудом спасались руками. Затем штурм глинистого пригорка из хорошо промытой красной глины и хаос вечной стройки — новые препятствия. Наконец, вокзальная площадь, заезженная до дыр, ям и промоин. В Москве бутовцев отличали сразу по ботинкам и штанам.

За грязной дорогой и гонкой за считанными минутами следовала езда в электричке, набитой битком до плафонов. Зато мы умели спать сидя, стоя, повисши на руках и на соседях. Любимая моя фотография у мамы с тех времен — сон в походе. Лежа — это высший комфорт! Сорок минут сна, и тебя выкидывают на третью платформу Курского вокзала. Еще пять минут сна в метро — станция Калининская (Арбатскую пустили позже). И вот уже вприпрыжку бежишь мимо Моховой, 11 на Моховую, 9. Улица Герцена, подворотня, знакомый двор и кирпичный физфак.

Лекция по физике кончалась, и начиналось новое путешествие. Хорошо, если в Анатомическую или Зоологическую аудиторию. Чаще на Русакова. По знакомой уже дороге, пройденной по приезде в Москву, мимо барометра, вечно указывающего «пасмурно», и американского посольства, выглядывавшего вкуче с англичанами тайны Кремля, бежали мы в метро «Охотный ряд» под гостиницей «Москва». Денег было мало. Экономили опять на билетах. Специалисты нахватают из урн оторванных корешков и подсовывают их под целые билеты контролеру в общую пачку за всех. Тем и жили в бесконечных поездках. Длинная ветка до «Сокольни-

\* Государственный институт проектирования металлургических заводов.

ков» скрашивалась чтением книг, конспектов. Если было время, на «Комсомольской» выходили и кормились либо в буфете на станции «Комсомольская-радиальная», где тогда продавались великолепные пирожные, либо на вокзале. И тут была пошлина — плата за вход на вокзал, и тут приходилось хитрить. Пулей проскочишь мимо контроля — и в буфет. Вокзал был для нас родным домом.

От Сокольников до клуба Русакова, апофеоза конструктивизма 30-х годов, рядом с которым был корпус с аудиториями для семинаров, добирались на трамвае или, чаще, пешком. Дорога была особенно хороша осенью — большие желтеющие купы кленов, скверики у стадиона, где можно было десять минут погрезить, подставив лицо солнцу, сам стадион, где проходили занятия по физкультуре, — все это скрашивало труд учебы лишним часом на воздухе. Да и около здания в переменки играли в волейбол, на стадионе — в футбол. Среди волейболистов в нашей группе выделялся Борис Лысов — у него был высокий прыжок и прекрасный удар кистью.

Кончались семинары, и опять дорога: на стадион ли, в читалку ли на Моховую, 11, где вечно не было мест и сидели по всем коридорам и балконам. И опять метро, опять дорога мимо «Националя» и Манежной площади. Забежишь в подвал студенческой столовой на Моховой, перехватишь обед по закону «трех вторых» — и за занятия. Главным образом математика, физпрактикум и конспекты. К вечеру снова на Курский, и к 10–11 часам приезжаешь в Бутово. Жизнь была в дороге.

Наверное, поэтому мы так ценили групповые вечера. Они были не только праздником сбора близких — они были уголком домашнего уюта. Приятно было посидеть на кухне среди девчонок, готовящих незамысловатый винегрет и нарезающих колбасу, сыр, масло. Приятно было посидеть на диване, тронуть пальцем клавиши



*Вечер у Таши Галкиной — первокурсная 18 группа*



*Весна в Бутово*

ушедшего из твоей жизни пианино, сесть за нормальный стол на стул, а не на кровать, есть с ложки, а не с ножа, и брать хлеб с тарелки. Не хватало простого человеческого быта, не хватало человеческого тепла, и мы, общежитейские, тянулись в группу. И готовы были играть на пианино классические пьесы на вечерах, петь романсы и декламировать школьные стихи. Суть их не волновала. Это выплескивалась жажда общения.

И еще помню демонстрации. Были они тогда поголовно обязательными, вопроса «ходить — не ходить» не возникало, и были тоже как встречи. Пели, горланили, танцевали во время остановок, дрались, как школьники, шутя, ходили, обнявшись с друзьями, балаганили, отставали от своих, лезли сквозь цепи ограждения, догоняли, пристраивались, помогали нести лозунги и плакаты, горланили, выходя из-за Исторического на площадь, скандировали, бежали под горку мимо Василия Блаженного, сворачивали на набережную Москвы-реки, разбрелись с чувством исполненного долга, бегали за пирожками и шариками и много гуляли, взявшись за руки. Погода не играла роли — весна была в душе.

Может быть, по той же весенней аналогии вспоминаются мне несчастные прогулки в лес, на природу — в Бутово ли, случайным выходным в день голосования, в Сокольнический парк — семинарским загулом, на Кашире — в прищосейные рощицы и на Москву-реку или после экзаменов — на водохранилище. Природа щедро дарила нам свежие краски, запахи леса, свежесть воды, солнце. В лесу было легко дышать, небо было синее, дымные краски и шумы Москвы уходили далеко за перекрестки. Птицы пели, трава вылезала из всех промоин, и на душе было так легко, чисто и безоблачно, как бывает только в детстве. И любил весь мир.

\* \* \*

Всю эту идиллическую картину романтической первокурсной жизни нарушает, пожалуй, только одно воспоминание. И хотя оно тоже окрашено, но тона потемнее. Это — март 53-го, смерть Сталина.

Собственно, события начались раньше. События тревожные. Сначала это были слухи о его болезни, вызванные неожиданными бюллетенями о здоровье. Никогда никого не уведомляли, и вдруг — информация. Это настораживало. Затем — сам факт смерти. Он подействовал сильно. Что-то рушилось в привычном мире, он становился неустойчивым. Возникал вопрос — что дальше? Особенных собраний не упомяну, инерция дисциплины и страха действовала, но разговоров было много. Мы были ошеломлены. Факт не укладывался в сознании. И хотя действия были по тому времени привычные: дежурство у портрета и знамени, сдержанность в выражениях чувств, но возникало и не уходило какое-то внутреннее напряжение. И его ощущали не только мы — каждый.

С утра в тот день, когда тело выставили в Колонном зале, эта тревога обнаружилась в появлении оцепления у метро «Калининская». Нас, впрочем, по студбилетам пропускали в МГУ переулками, занятия шли, хотя общая взволнованность всех будоражила. Из МГУ, со двора и из окон, была видна толпа на Охотном ряду, новые шеренги оцепления на Горького и хвост «очереди», завивавшийся в неизвестность. Днем появились охотники попасть в Колонный зал. Толпа у оцеплений и на Садовом прибывала — Москва рвалась в Колонный. наших ребят мобилизовали помогать милиции. А яростный натиск толпы нарастал. Машины и люди уже не могли его сдержать. Где-то толпа прорвалась через оцепление, где-то смяла людей. Люди зверели. Их жало толпой к машинам, некоторых до увечья. Толпы лезли на машины, раскидывали оцепления, бежали к следующей линии, и все рвались и рвались к Колонному. Кто-то бежал дворами, кто-то лез крышами. Падали с крыш, разбивались, увечились машинами, толпой. В этом необузданном нажиме толпы была бессмысленность стихии и неуправляемое безумие. Люди стервенели, натываясь на преграды. Что ими двигало? Азарт был у мальчишек, а у остальных? Любопытство? Вера? Стихия? Было что-то первобытное, нечеловеческое в этом напоре толпы. Драма массового психоза. Торжество безумия. И оно оборачивалось трагедией.

На следующий день были похороны. Мы глядели из окон химпрактикума, как вдали, мимо гостиницы «Москва» везли пушку, тело на лафете и как шли кучкой неразличимые нам персонально приемники правительства. Грохнул артиллерийский салют. Его встретили молча. Все чувствовали, что началась новая полоса. Но какая? А газеты сообщали о проекте пантеона вождей.

*(Продолжение следует)*